

Помню как сейчас, хотя прошло уже сорок с лишним лет: лето, жара, здоровенные сонные мухи лениво ползают в терраске по оконному стеклу. Под крыльцом стонет-скулит Сюсик: его нещадно донимают блохи.

— Ленька, почему ты ничего не кушаешь?

— Мне сказали, что утром кушать вредно.

— Кто сказал?

Бабушка Фрося сурово поджимает губы и вопросительно смотрит на меня. Она — прямолинейная в своих суждениях женщина, потому что ее детство пришлось на суровые годы гражданской войны, юность — на коллективизацию, а зрелость — на Великую Отечественную. Поэтому она всегда знает, что говорит.

— Не слушай ты разных... (далее следовало грубое матерное слово)! Скушай яичко и кашку.

— Не хочу.

— А яичко такое беленькое, такое вкусенькое!

— Ну!

— А если ты не будешь кушать кашку, то я тебе ее за шиворот вылью.

Я стискиваю зубы и молчу.

— Ну, чего? Выливать?

— А я все папе скажу.

— А я и папе вылью. Где его черти носят? Небось, опять в пивнушке сидит! Все никак не нажрется... (и повторялось все то же матерное слово, универсально определяющее всю глубинную суть нашего тогдашнего бытия).

Нет, жили славно! В том смысле, что весело. Никогда не скучали. По вечерам мужики собирались за главным уличным столом и азартно рубились в домино или карты. Особенно громко и шепутно себя вел Шурик. Я всегда удивлялся: такой маленький, смешной, на толстеньких кривоватых ножках, совсем не богатырского телосложения, а орал громче всех. Как ему это удавалось и, главное, зачем?

А самым уважаемым в этой взрослой мужской компании был дядя Миша. Он то ли три, то ли четыре раза сидел в тюрьме, и всегда по серьезным делам, за поножовщину, поэтому и пользовался не только здесь, на улице, но и далеко за ее пределами заслуженным авторитетом.

Время от времени мужики поднимались из-за стола и всей доминошно-картежной компанией шли в распивочную на углу. Это называлось «сходить к черным мужикам», потому что хозяином распивочной был толстый и улыбочивый то ли армянин, то ли грузин по имени Валико. Мы, пацаны, нередко увязывались за мужиками, и они отдавали нам ириски, которые в свою очередь давал им на закуску Валико. Распивочная закрылась в восемьдесят пятом, с началом горбачевского «сухого закона», и Валико устроился работать в «трамвайку», кондуктором. По старой памяти с нас денег за проезд он никогда не брал, и мы беззастенчиво этим пользовались.

Была еще тетя Рая. Она жила в маленьком домике за помойкой и считалась совершенно падшей женщиной, потому что водила в этот симпатичный домик разных симпатичных и не очень симпатичных мужчин. Вроде бы странно, но на улице ее за это не осуждали. Улица вообще была очень терпимой к разным человеческим проявлениям, в том числе и глубоко порочным. Тетя Рая носила красивые платья, ярко красила губы и смеялась неприятным басом (такой смех называется вульгарным. Это название я уже потом узнал, когда повзрослел).

— Ну, чего, Райк? — весело спрашивал ее дядя Миша. — Наблидавалась?

— Нет пока исчо, — жеманно собрав губы в дудочку, отвечала тетя Рая.

— Ну, блидуи-блидуи, — милостиво разрешал дядя Миша. — Смотри тока заразу не подцепи.

Однажды летом тетя Рая уехала с очередным мужиком на южный курорт и оттуда не вернулась. На улице говорили, что этот самый ухажер там, на курорте, ее к кому-то приревновал и зарезал. Что ж, бывает. Кого давят, кого режут, третьи сами помирают. Судьба! Другие с жаром уверяли, что никто Райку не резал, а даже наоборот: этот то ли грузин, то ли тамошний турок, плененный ее неземными чарами, купил ей на побережье точно такой же симпатичный домик, в котором Раиса сейчас и блаженствует. И эта версия тоже имела право на существование и тоже никем не отвергалась.

Огорода у тети Раи не было, садом она не занималась, зато прямо у калитки рос здоровенный куст жасмина, и каждый год, с мая по сентябрь, от него исходил такой умопомрачительный запах, что прохожие невольно останавливались, нюхали и качали головами. Странно, но я ни разу не видел, чтобы кто-нибудь отломил от куста хоть одну веточку.

Как сейчас перед глазами картина: хозяйки который месяц уже нет, дом стоит непривычно тихий, сиротливый, забытый и заброшенный, покорно смирившийся со своей печальной участью постепенного разрушения, а жасмин по-прежнему цветет бьющим в глаза белоснежным цветом и все так же, по-прежнему дурманит головы, словно бросает вызов судьбе и не желает сдаваться.

Справа от тети Раи, ближе к железной дороге, жила семья Зворыкиных. Примечательна она была тем, что Зворыкины считали себя единственными на всей улице эстетствующими интеллигентами, и по утрам Зворыкина-мама беспощадно орала то ли на Зворыкина-папу, то ли на их совместно нажитого сына Стасика, редкостного даже по нашим уличным меркам раздолбая: «А кофий из банки надо брать сухой ложкой! Ты понял — только су-хой! Нет, я с вами точно с ума сойду!» Свое обещание она в конце концов выполнила: ближе к старости действительно поехала мозгами и даже несколько раз лечилась в психиатрической больнице, правда, с совершенно бесполезным успехом.

Зворыкин-папа, невероятно худой очкарик со взглядом побитой собаки, работал бухгалтером на мукомольном комбинате и, по-моему, даже ничего оттуда не воровал, а раздолбай Стасик то ли в девятом, то ли в десятом классе неожиданно для всех стал комсомольским активистом, после школы по комсомольской линии поступил

в Педагогический институт, но его не окончил, потому что с третьего курса уехал в Москву и стал слушателем какой-то суперсекретной кэбэбэшной школы. Далее слухи разнятся: одни говорили, что он оказался предателем, был разоблачен и тайно расстрелян в подвалах Лубянки. Другие же с жаром уверяли, что никто его не разоблачал и не расстреливал, а даже совсем наоборот: Стасик ту школу успешно закончил и был заслан за рубежи нашей Родины, шипиённичать в одной из глубоко развивающихся стран. Причем сделал там головокружительную карьеру, и от простого-рядового шипиена дорос до целого резидента. Впрочем, это уже детали, главное, что в той суперсверхсекретной школе он наверняка прошел специальный курс западных манер поведения в быту и поэтому наверняка научился на радость своей психиатрической маме пользоваться насухо вытертой кофейной ложкой.

И уж коли заговорил о заграничах: ближе к вокзалу, в маленьком домике с большой деревянной терраской и покатою крышей, жил Пал Анисимыч. Он всю жизнь проработал по дипломатической линии: возил на машине то ли посла нашего в Америке, то ли кого из его подчиненных. Бывало, спросишь его: «Пал Анисимыч! А как они там живут? Вообще-то как? Продуктивно?» — а он в ответ задумается, этак многозначительно в воздухе пальцами покрутит и отвечает всегда односложно: «А чего ж им? Продуктивно, да. Сношаются, твари». В каком, спрашиваю, смысле. В обычном, отвечает. В физиологическом. Как утром просыпаются — первым делом продуктов своих американских нажрут и начинают свои американские сношения. И никакого прям стыда, и никакого на них, тварей, народного контроля.

Да, большого ума был человек! Когда там, в Америке, работал, то водочкой увлекаться остерегался (как можно! Находился, так сказать, в самом главном логове идеологически враждебного стана!) Коварные цэрэушники враз могли подловить на алкогольном увлечении, хоть и работаешь ты простым шоферюгой, и по дипломатическим табелям о рангах есть ты никто и зовут тебя совершенно никак!), а вот как на пенсию вышел — расслабился, увлекся. Через это расслабление и помер. Да и чего удивительного? Проспиртовываться надо постепенно, месяц от месяца, год от года, чтобы организм привык и душевно спиртовую благодать почувствовал. А если сразу на нее накинуться, по голодному, то недолго и до печального исхода в виде соответствующих этому моменту картонных тапочек и духового оркестра впереди.

Улица заканчивалась домом, в котором жила семья Толстопятовых. Глава семьи, Василий Прохорович по кличке Пупок, как и все вышеназванные жители улицы, тоже был достопримечательным человеком. Особенно прекрасным он представлял в выпившем состоянии, когда выходил на улицу и громко объявлял: «Я вас, тварей, всех наскрозь вижу!» Объявление сопровождалось поднятым и сотрясаемым кулаком. Понятно, что никакого должного эффекта ни грозные слова, ни этот кулак на окружающих не производили. Наверное, потому что все вокруг были точно такими же «рентгенологами».

Иногда после этого кратковременного спектакля Василий Прохорович уходил домой сам, иногда его уводила супруга, почтенная Тамара Марковна. Опять же иногда уводила его без всяких лишних движений, но бывало, что молча лупила Василия Прохоровича по морде мокрой тряпкой, которой вытирала посуду. После пары ударов «рентгенолог» быстро приходил в чувство, горбился, поникал плечами и опускал голову. Тамара Марковна вздыхала, гладила его по голове и уводила в калитку. Работал Василий Прохорович продавцом кваса недалеко от нашей улицы, около вокзала, и нас, пацанов, всегда поил бесплатно. Квас был очень вкусным. Это я помню совершенно точно.

А на уличной помойке постоянно кормились бродячие собаки. Мы их все время гоняли, но гоняли не от жестокости, а от азарта, и собаки это понимали, поэтому бежали

от нас не резов и в страхе, а подчиняясь этой непонятной и совершенно безболезненной для них игре. Однажды весной одна из них сдохла здесь же, в лопухах, и мы, пацаны, вырыли ямку и собаку похоронили. Помню, была она маленькая, рыженькая и со смешными остренькими ушами. Детство и отрочество — время формирования жизненных принципов, в которых совершенно непонятным образом сочетаются и жестокость, и азарт, и бездушие, и сострадание к падшим, и память о павших.

А еще на помойку прилетали здоровенные вороны и такие же здоровенные галки. Вот их-то мы действительно ненавидели, потому что они нахально, прямо из-под носа, воровали объедки у этих самых, нам дружественных собак.

В самой середине улицы стояла водонаборная колонка. Мы, пацаны, очень любили около нее собираться и поливать друг друга здешней водой. Вода была ледяная, мы визжали, матери ругались, а мужики посмеивались: здоровее будут! А не будут, так помрут! Делов-то!

У Сиротиных на кухне, на полке у печки всегда стояла трехлитровая банка с так называемым грибом. Гриб представлял из себя этакое медузообразное существо внешне совершенно противного вида, а вода, в которой он плавал, была желтой по цвету и настолько кислой на вкус, что сводило скулы, если пить ее без сахара. Считалось, что эта желтая вода помогает чуть ли не от всех болезней, и все уличные в это почему-то безоговорочно верили, хотя я не помню случая, чтобы кто-то действительно от чего-то излечился.

По привокзальной площади ездил на своей самодельной коляске жизнерадостный безногий инвалид, может бывший фронтовик, а может просто несчастный пьянчужка, пострадавший из-за своего пагубного пристрастия. Был он всегда жизнерадостен и по-жизнерадостному неугомонен. За плечами у него всегда висел рюкзак, в который он собирал здесь же, на площади и в местных проулках пустые бутылки, которые и сдавал тоже здесь же, у вокзала, в пункте приема стеклотары. Его коляска представляла из себя деревянный ящик с низкими бортами и подшипниками вместо колес, а от асфальта инвалид отталкивался короткими палками, на рабочих концах которых имелись острые железные короткие пики. Инвалид этот пропал в одночасье летом восьмидесятого года как раз накануне Московской Олимпиады. Говорили, что его убрали от греха подальше, чтобы не портил своим жизнерадостным уродливым видом окружающий пейзаж, тем более что в наш город запросто могли заглянуть приехавшие на Олимпийские игры иностранцы, благо ехать-то до нас от столицы всего сто километров. Все правильно, все логично, все в духе великих идей: на хрен он нужен, чтобы его видели эти потенциальные иностранцы? Чтобы портить в целом совершенно радостную картину нашего бурно развитого социализма, в которую инвалиды и прочие убогие совершенно не вписывались и даже дискредитировали своим совершенно нерадостным видом?

Помню истошный крик: Ваську парковые метелят! Васька был старшим сыном дяди Миши, и дядя Миша, схватив нож, побежал в парк, зарабатывать себе то ли четвертый, то ли пятый срок...

Помню сообщение в городской газете: «... коллективом трудящихся теплово-зостроительного завода токарь-фрезеровщик пятого разряда В. П. Зайцев единогласно избран депутатом Верховного совета РСФСР» — и улица по этому поводу гуляла три дня, а сам дядя Валера, всегда веселый, всегда улыбавшийся мужик со смешной уличной кличкой Яблочко, выпивая очередную рюмку и закусывая куском черного хлеба с соленым бочковым огурцом, рассказывал, как ему жал руку первый секретарь обкома и сколько стоит бутерброд с черной икрой в буфете Дома Союзов...

В год, когда умер Брежнев, умерла и бабушка Фрося. Она вынесла ведро на помойку, села покурить (курила исключительно «Беломор»), привалилась к за-

бору — и все. Хоронили ее на следующий день, потому что было очень жарко и тело могло испортиться, поэтому бабуку уже в гробу обложили крапивой и сухим льдом, за которым специально съездили на хладокомбинат. Народу было много, а плакали мало. У нас на улице не принято было афишировать свои чувства. Ну, померла и померла. Все померем. Одни раньше, другие позже. Такие дела.

С тех пор прошло много лет. Старшие перемерли, а мои сверстники подались кто куда. Жиган несколько раз отсидел и сейчас живет на другом конце города. Я не так давно видел его. Лицо у Жигана — столетнего старика. Несладко дались ему эти отсидки...

Пашка стал профессором-богословом, сейчас живет и работает в Москве, и его даже несколько раз показывали по телевизору.

Федька работает диктором на нашем местном радио и все время жалуется, что настоипенило ему это «радиво» по самое не балуйся, а уходить некуда: стаж надо зарабатывать, до пенсии надо доработать... Валерка по кличке Питасять (он слово «пятнадцать» до сих пор не выговаривает, отсюда и кличка) шоферит в заготконторе.

Сашка умер от неизвестной болезни.

Сергея — пенсионер по инвалидности, но подрабатывает сторожем на стадионе имени революционера областного значения. Местные власти сколько уже раз собирались стадион переименовать, потому что, как выяснилось в результате рестройки и последующих реформ, этот революционер в пору своей бурной революционной молодости погубил столько народа, что... Но на переименование никогда не находится достаточного количества денег, да и кому оно, собственно, уперлось, это переименование...

На улице уже давно никто не живет, все расселились по многоэтажкам, а дома стоят и сносить их никто не собирается, хотя в местных газетах постоянно пишут, что они представляют из себя постоянную пожарную опасность из-за ночующих в них бомжей.

Я иногда захожу сюда, на улицу, но долго находиться не люблю, потому что эти гниющие дома и эти гниющие палисадники смотрят на меня с немым укором, как брошенные и ничего не понимающие собаки, которые столько лет служили верой и правдой — и вдруг, в одночасье оказались совершенно никому не нужными.

Заборы почернели, и в один из последних заходов я увидел на одном из них двух здоровенных, взерошенных и почему-то *мокрых* галок, хотя дождя в этот день не было. Такие прилетали на нашу уличную помойку, но сейчас помойки тоже уже давно нет, и, зачем они сидели здесь сейчас, было совершенно непонятно. То ли увидев, то ли почувствовав меня, одна из них заполошно хлопнула крыльями, собираясь взлететь. Вторая повернула к ней голову, дескать, ты чего, подруга, испугалась? Здесь же нет никого! Здесь уже давно нет никого! Что? Этот? Да алкаш какой-то забрел подзаборный, чтобы облегчиться... Не, он неопасен. Здесь уже давно никто неопасен. Так что не паникуй. Спи дальше...

Постскриптум. Да, я же не сказал самого главного: как наша улица называлась. А название у нее было просто-таки замечательное — СРЕДНЯЯ! То есть не большая и не маленькая, не жарко и не холодно, не кисло и не сладко, не плюс и не минус, помаленьку-полегоньку и все в том же совершенно нейтральном духе... И люди на ней жили соответственно *усредненные*... В нашей великолепной стране на улице только с ТАКИМ названием и предначертанием и только ТАКИМ людям можно жить и выживать...

